

20 лет назад Матвей Ганапольский приехал покорять Москву. Вскоре после приезда в столицу он попал на радио. Потом началась его телекарьеря — «Бомонд», «Большое Времечко», «Детектив-шоу». Сегодня Матвей — лицо радиостанции «Эхо Москвы».

### Свиная кожа

— А и правда, 20 лет прошло... — начал беседу Ганапольский. — Спасибо, что напомнили.

— С легкостью решились на отъезд в Москву?

— Тогда это было сродни отъезду в другой мир. Живя в Киеве, не мог представить, что в Москве могу оказаться. Был один легкий способ — жениться. Но тогда не строил таких планов. Я приехал сюда учиться, но, закончив ГИТИС, вернулся обратно. Спустя годы приехал сюда на гастроли, влюбился тут в одну девушку, женился на ней и остался. Сейчас такое чувство, будто и не было моей прошлой жизни. Мир так сильно изменился.

— И вас Москва поменяла?

дим, знаем, о проблемах, которые мы понимаем.

Радиостанция во многом основана на персоналиях. Каждый из нас говорит то, что думает. В этом сплетении и заключается феномен «Эхо Москвы» — радиостанции, которой уже 16 лет.

— 15 из них вы на ней работаете. Свой первый день помните?

— Я очень хотел работать на радио, пытался открыть свою радиостанцию. А в той комнате, где давали право открыть радиостанцию, оказался журналист Сергей Корзун. Человек, сидев-

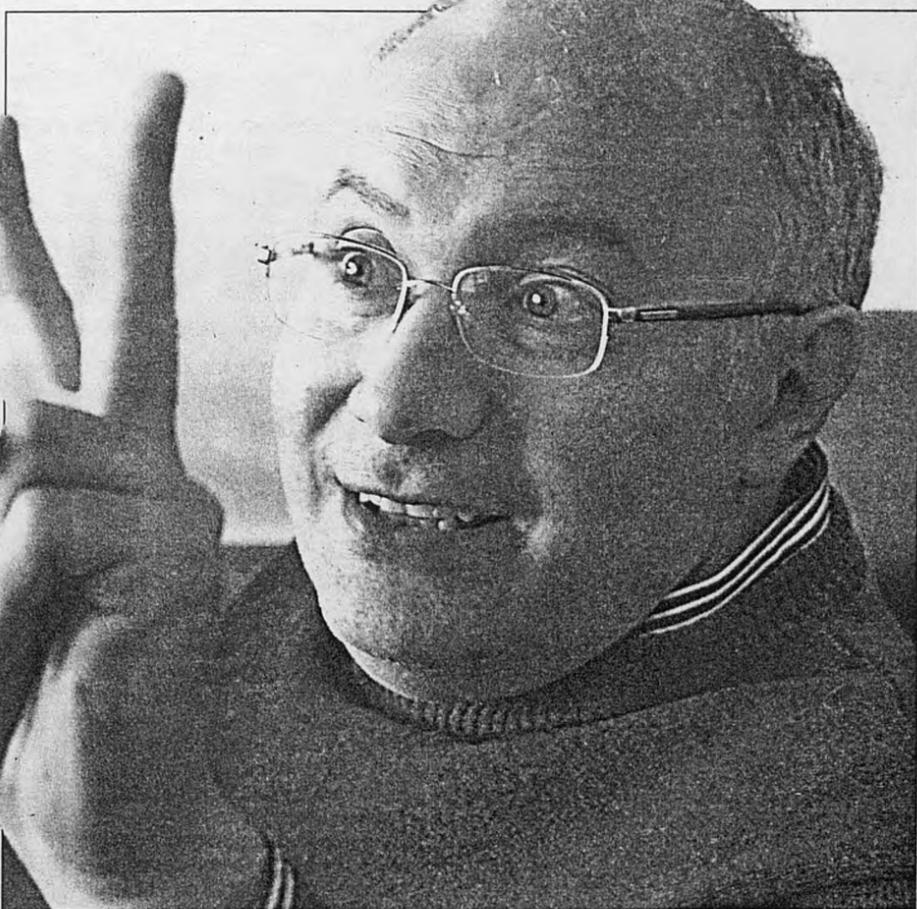


фото Андрея Струнина

В этот момент в кабинет к Ганапольскому входит главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и просит Матвея Юрьевича после интервью срочно зайти к нему.

### Иногда волосы дыбом

— На ковер вызывает? У вас есть внутренняя цензура?

— Мы не воспринимаем Венедиктова как классического начальника. Тут все тоньше. Он порой вбегает в студию, мы начинаем спорить. Как-то мне даже позвонил радиослушатель и сказал, что я непочтительно общался с начальством. Принцип свободного изъяснения своего мнения, заложенный внутри радио, — рецепт его успеха. Венедиктов определяет стратегию, но не контролирует каждое слово. Такого у нас не бывает. Свободное радио — для свободных людей. Если нет, то тогда Венедиктов ничем не будет отличаться от власти.

У нас постоянно появляются новые люди.

Матвей Ганапольский:

# Порой хочется на все забить

— Наверное, как меняет любой жесткий город. А Москва — очень жесткий город и с каждым днем становится все жестче. Сначала город был какой-то безалаберный, куда все ехали, чтобы найти работу. В провинции не происходило ничего, а в Москве происходило хоть что-то.

Недавно я вел программу об ипотеке. Передо мной сидели женщина и представитель банка. Женщина говорит: «Я хочу купить квартиру побольше, но не могу — зарплата не позволяет». Представитель банка сказал фразу, которая поначалу повергла меня в шок: «А зачем вам жилье в Москве? В Туле оно стоит гораздо дешевле». Женщина эта вскопичила и как закричит: «Вы что, хотите, чтобы я уехала из Москвы, где я родилась и прожила всю жизнь?» Я подумал, что наша столица стала походить на Нью-Йорк — город конкуренции цен и возможностей. Чтобы жить тут, надо конкурировать. Понятие «коренной москвич» становится эфемерным. Моя жизнь — это конкуренция с теми, кто вокруг меня.

— Радиослушатели не обвиняют в том, что, сидя в Москве, нельзя увидеть жизнь провинции и рассуждать о ней?

— Каких только обвинений в свой адрес я не услышал за время работы на «Эхе Москвы»! В студии стоит компьютер, и я вижу, какие сообщения отправляют слушатели. Это поток здоровых идей и обвинений. Мы когда-то решили, что должны быть рядом с радиослушателями, какими бы они ни были. Но иногда мы злимся, иногда злобно огрызаемся.

Мы все же московская радиостанция и говорим о том, что происходит в этом городе. Нас можно обвинить, что мы не знаем происходящего за пределами МКАДа. Но все вопросы пока решаются в столице. Мы говорим о том, что ви-

ший в той комнате, сказал: «У нас сейчас нет возможности для второй радиостанции. Поговорите с Корзуном. Может, найдете общий язык». Мы вышли, сухо поговорили и расстались. Я хотел сделать развлекательное радио, он — политическое. Я понял: мы с ним ни в чем не совпадаем. Но потом я пришел на «Эхо» с предложением «Бомонда». И пошло-поехало. То, что я делал в первые годы своей работы, было наивно, но все мы растем.

Я помню наш коридор, ленточные магнитофоны «МЭЗ». Мы склеивали пленку уксусом, и в коридоре стоял ужасный запах. Появился скотч — мы стали монтировать им. У нас была одна маленькая комнатка и студия внизу, два телефонных номера, один из которых секретный — для журналистов, второй — для всех. Звонков было море.

К нам приходили священники, которые освящали нашу студию. А в коридорах у нас жили люди, которые приезжали из провинции, чтобы найти правду в Москве. Принесли нам еду, потом мы их подкармливали, а потом они исчезали. Многие депутаты, которые важно ездили с охраной, легко приходили к нам в эфир. Они понимали, что появление «Эха» — это революция. Сейчас мы — одна из 120 радиостанций. Но мы не размылись. Мы говорим правду и говорим то, что думаем. Власть пока это право не отобрала. Она уничтожила телеканалы, но мы пережили многих. И собираемся жить дальше. У нас растет аудитория. Казалось бы, людям все

больше наплевать на политику, которая от них не зависит. И ведь им предлагается много альтернатив. Но нас слушают.

### Мы — витрина

— Почему государство не трогает «Эхо»?

— Прихлопнуть нас — дело одной минуты. О нашем существовании забудут, как забывается все. Ну, будут помнить, как первое НТВ. Но мы для власти не

## Не думаю, что Путин затаив дыхание слушает Доренко, а потом его идеи реализует.

опасны. Сейчас такое время, что полностью зачищено телевидение. «Эхо Москвы» в сложившейся ситуации — интересный прецедент. Для власти мы — своеобразная витрина. Запад видит, что в России свобода слова есть.

Еще власти надо мониторить состояние общества. Власть хочет знать, что происходит реально. А мы проводим опросы — по 10 в день. И еще наверху иногда питаются идеями, которые рождаем мы в эфире в диалоге со слушателями. Идеи не генерируются в парламенте. Как сказал Грызлов: «Парламент — не место для дискуссий». У нас же часто идут серьезные обсуждения, которые не идут нигде: ни в Госдуме, ни в Кремле.

— Реальные примеры приведите.

— Не думаю, что Путин затаив дыхание слушает, скажем, Доренко, а потом его идеи немедленно реализует. Важно, что власть с нашей помощью тестирует свои начинания, не давая нам такого задания. Мы — как экспресс-анализ крови.

Вот в первом чтении законы обычно радикальные и абсурдные. Поправки появляются во многом благодаря нам. Критики в нашей студии

ред, но остается на месте? Мы видим прекрасный город, красивые здания, а люди, которые живут в своей скорлупе, остались теми же: они видят врага в США, не принимают нового, ненавидят приезжих. Порой мне хочется, как говорят тинейджеры, забить на все. Но я продолжу работать для той аудитории, которая привыкла мыслить. А тем, кто нас ненавидит, мы говорим: спасибо за рейтинг.

— Порой кажется, что сами радиоведущие начинают мыслить за народ. Признайтесь, субъективизма полно.

— Мы живые люди. Да, я позволяю себе высказывать свое мнение. Как и Сорокина, и Варфоломеев, и Леонтьев. А почему нет? Я ввел на «Эхе» понятие «людоед». Могу смело называть в эфире людоедами тех, кто принимает людоедские законы. Я имею на это право. Но когда мы опрашиваем людей, у меня не должно быть позиции. И вообще, мне кажется, обо всех вопросах нужно говорить так, чтобы не было скучно.

— Да, когда звонят слушатели и посылают всех на три буквы, не соскучиться. Почему «Эхо» не откажется от телефонных звонков?

— И матом ругаются, и оскорбляют, и национальный вопрос не забывают. Есть две главные темы — это Путин и евреи. Сейчас место евреев занимает кавказцы. У нас был выбор: либо мы отслушиваем звонки перед тем, как вывести слушателя в эфир, либо нет. Мы приняли решение, что отслушивать не будем. Идиоты есть везде.

Они понимают, что «Эхо» — площадка, где можно высказаться. У нас есть свои либералы, демократы, государственники. Иногда читаешь комментарий коллеги — и волосы дыбом встают.

— Вам никогда не хотелось бросить политику и уйти в искусство? Вы ведь режиссер.

— Наверное, я должен был сказать: да, вечерами, попивая чай, хочется поставить спектакль. Но нет, нет такого желания. Для меня театр сейчас потерял всякий смысл, хотя театральные залы полны, звезды играют, антрепризы расцветают. Режиссер прежде всего должен понять, что он хочет сказать своей постановкой. В советское время театр был для власти как фигура в кармане. Актер говорил фразу, зрители понимали, что в этот момент можно аплодировать, и аплодировали. Сейчас все откровенно. Я перестал понимать, для чего я нужен театру. Жизнь сейчас меняется так быстро, что ее театральное воплощение для меня потеряло интерес.

— А если позовут на федеральный канал вести общественно-политическую программу, пойдете?

— Конечно.

— А как же свобода слова, за которую вы так ратуете?

— Это как в книжном магазине: отдел фантастики — в соседнем зале. Если руководство канала приглашает меня, оно понимает, чего от меня ожидать, и какой будет дискуссия. Поэтому пока не зовут.

■ Дмитрий Титоренко.